

ЧАСТЬ I НАД

Я хорошо помню звук моторной лодки и тишину, когда отец остановил ее.

Тишина звучала как плеск волн и вечно над кем-то хохочущие чайки, как ветер и шумное дыхание отца.

Мы остановились на середине водохранилища. И я даже представить не могу, как высоко мы забрались. Высоко по сравнению с тем, что там, внизу.

Мне семь лет, и я не вижу особой разницы между глубиной и высотой. Сестре — двенадцать, и я замечаю в ее глазах что-то похожее на страх.

Отец забрал нас из школьного летнего лагеря пораньше. Сказал, что мы поедем на водохранилище купаться и смотреть на чаек.

— А мама? — спросила сестра.

— А мама еще на работе, — ответил отец.

— Мама говорила, чтобы мы без нее не купались.

— Да мало ли что она говорит, — отец ухмыльнулся. — Не хочешь купаться? Ты тоже не хочешь? — Он ткнул в мою сторону пальцем, как будто прицеливался.

— Хочу, — быстро ответила я.

— А вот сестра твоя, похоже, собирается сидеть дома.

— Да не собираюсь я, просто...

— Просто — на носу короста. — Отец щелкнул сестру по носу и засмеялся. — Пошли.

Сначала мы едем на автобусе, который долго ползет в гору в сторону заросших малиной дач, потом идем пешком до пристани, где стоят лодки. Я очень хочу есть, но молчу, потому что отец никогда еще не брал нас кататься на лодке без мамы и я не хочу все испортить. Мне кажется, что нас ждет настоящее приключение.

— Сегодня покажу вам, откуда я родом, — говорит отец, снимая брезент с лодки.

— Но ведь папину деревню затопило, как мы сможем ее увидеть? — шепотом спрашиваю я у сестры.

— Затопило, — тихо отвечает она и берет меня за руку.

Мы слышали эту историю много раз. Отец любил рассказывать, как во время строительства Красноярской ГЭС пришлось затопить больше ста поселков и деревень, в том числе и его родной Езагаш.

«Езагаш-ш-ш-ш», — шуршит у меня в ушах чей-то голос. Мне кажется, там жили ящерицы.

И мы с сестрой, как две юркие ящерицы, гремся на солнце, сидя на носу лодки, пока отец направляет ее вперед, в переливающуюся синезеленую воду.

Украдкой поглядываю на отца. Чем дальше уходит берег, тем мрачнее становится его лицо. Я знаю это его лицо, оно как погода, когда темная туча наползает на солнце и какое-то время солнце подсвечивает ее край, будто говорит: я все еще здесь. Пока солнце еще здесь, можно попросить у отца посмотреть телевизор или деньги на мороженое — или просто побыть с ним в одной комнате. Но когда край облака перестает светиться — лучше убраться куда-нибудь подальше.

Я смотрю на отца. Он уже не здесь.

Он останавливает лодку, и мы долго молчим. Сестра смотрит в сторону далекого берега, а я опускаю руки в воду и шевелю пальцами, здороваясь с подводными жителями.

— А знаете, что там на дне?

— Ящерицы? — с надеждой спрашиваю я.

— Нет, — отец кривит рот, — там бабка ваша, и дед, и брат мой дядя Саша. Там — дом.

— Наш дом — на улице Чкалова, у горы, — важно говорю я.

Лицо отца совсем портится, и он смотрит на меня слишком пристально.

— Дом — не там, где ты живешь, а там, где родился.

Когда отец говорит таким голосом — тихим, но очень громким, — с ним лучше не спорить. Я думаю о том, могли ли мы с сестрой родиться на дне водохранилища, а не в Дивногорском

роддоме. Может быть, под водой тоже был свой роддом.

— Ведь, как говорится, где родился, там и пригодился, — продолжил отец. — Но вам-то откуда знать, вы же дома своего даже не видели.

Я снова собираюсь напомнить отцу, что наш дом находится на улице Чкалова, но сестра замечает это и больно щиплет меня за руку. Мне хочется пискнуть, но я молчу: мы с сестрой никогда не выдаем друг друга.

— Все беды начинаются, когда человек дом свой теряет. А другого ему уже не найти, потому что другого быть не может.

Я молчу под предостерегающим взглядом сестры. Отец часто говорит такое, от чего делается непонятно и плохо. Будто у меня пытаются забрать что-то, но я не понимаю, что именно.

— Плавать будете? — неожиданно спрашивает отец.

— Да, — отвечаю я.

— Нет, — говорит сестра.

— А чего нет-то? — злится отец и начинает раскачивать лодку.

Я смеюсь и визжу, ведь самое страшное, что может случиться, — то, что вода окажется холодной.

— Сейчас мы все тут поплаваем! — Отец почему-то не смеется.

— Папа, не надо! Перестань! — просит сестра, и я не могу понять, почему она плачет.

НЕТ ТАКОЙ РЕКИ

Сестра говорит, чтобы я срочно прилетала. Сестра говорит, что у отца инфаркт.

Я спрашиваю, что сестра имеет в виду.

Сестра интересуется, не оступела ли я, часом, в своем Петербурге.

Я говорю, что не оступела, но инфаркт — это не всегда смерть, поэтому я хотела бы уточнить один момент.

Сестре неясно, что за момент я хочу уточнить. Я не выдерживаю и спрашиваю прямо: он умер или что?

Сестра говорит сначала: «Или то», а потом: «Да, умер».

Я спрашиваю, когда похороны. Сестра говорит — в понедельник и что я должна прилететь.

Я говорю, что у меня аэрофобия. Сестра говорит, что я эгоистка.

Раздумываю, открываю «Авиасейлс», смотрю цены на сегодняшний вечер, они высокие. Денег мне не жалко, мне жалко себя. Пять часов нескончаемого ужаса из Петербурга до Красноярска, и я — у гроба обожаемого батьки. Ирония в том, что после такого перелета я буду еще мертвее, чем он.

Закрываю вкладку. Если не думать про обвинения сестры, то мне даже не надо класть на чаши воображаемых весов свою аэрофобию и любовь к отцу.

Поеду на поезде.

Покупаю билет до Москвы, потому что из Петербурга до Красноярска прямых поездов нет. Странный город Петербург, и странно, что я в нем все-таки оказалась: всегда недолюбливала большую воду и вот — живу почти у самого моря. Когда вернусь, надо будет переехать.

Моя дорога домой растянется почти на три дня, и мне трудно в это поверить, ведь на другой конец света я могу улететь за каких-нибудь двенадцать часов, то есть могла раньше, сейчас уже не могу.

Санкт-Петербург Главный — Москва Октябрьская — Красноярск-Пасс. — так выглядит мой путь домой. Для меня не существует чудесных сапог, которые сразу перенесут за тридевять земель, придется измерять дорогу в обычных километрах, вокзалах и пачках лапши «Доширак».

Удивительно, что поезда дальнего следования еще не исчезли, мало кто сейчас может позволить себе проводить столько времени в пути. Полтора-два века назад у людей было как будто больше времени. Они могли неделями кататься туда-сюда, и никто бы им ничего не сказал. Мне тоже никто ничего не скажет, кроме сестры.

Для нас с ней время идет по-разному: для нее очень быстро, а для меня — медленно и как-то не так, как должно идти для выросшего во взрослого человека. Каждый встреченный мною взрослый просто обязан искать в сутках двадцать

пятый час и вздыхать, что всего не успеть. Такое время бежит быстро, дробится на отрезки, разделяется со множеством других людей, подпитывается их временем и ускоряется до такой степени, что теряется из виду.

«Не понимаю, куда делось время», — всю жизнь повторяла мать.

«У меня нет лишнего времени», — часто говорила сестра.

«Времени мало, но я все вроде успеваю», — радовалась подруга в нашей последней переписке.

Я никогда не слышала, чтобы кто-то вдруг сказал: «А прикиньте, у меня много времени! Настолько много, что иногда я даже не знаю, что с ним делать».

Заявить такое как будто стыдно. Если у тебя много времени, то что-то с тобой определено не так. Скорее всего, ты ленивый, у тебя нет работы, ты эгоистичный и, возможно, просто тупой. А еще — одинокий. И это даже хуже, чем тупой.

Времени должно быть много только у детей и стариков, у стариков, правда, с некоторыми оговорками, но все же. Я не ребенок и не старуха, но у меня времени тоже почему-то много. Наверно, потому что я эгоистичная (как говорит сестра) и одинокая (как говорю я сама).

Свое время я чувствую очень медленным, буквально замершим в ожидании чего-то. И когда

что-то происходит (неважно, плохое или хорошее) — переезд, влюбленность, разрыв отношений, смерть близкого, — я чувствую себя так, будто давно прожила этот опыт и время, отпущенное на него. Будто чувства по поводу события возникли раньше, чем оно само появилось в моей жизни. Поэтому, когда что-то все-таки случается, я цепенею и не чувствую ни грусти, ни радости — только то, как бесконечно тянется опустевшее, обесмысленное время.

Я всегда словно иду под водой, шаги замедлены ее толщей, и я могу разглядеть каждый миллиметр этого странного тягучего движения, но не могу понять, где и когда оно началось.

Я проживала отъезд из дома задолго до того, как по-настоящему его покинула, да и отца я уже успела похоронить, так что сказать, что у меня не было времени попрощаться с ним, никак не получится, ведь наше прощание началось много лет назад.

Моя дорога займет почти три дня, и, думая о ней, я почему-то представляю все крупные российские реки. Наверное, потому, что смерть — это все-таки событие исключительное, и путь по реке кажется мне более подходящим к случаю, скорбным и величественным. Путешествие по железной дороге — напротив, шумным, грязным, суетным и обыденным.

К сожалению, Обь, Енисей и Лена пересекают страну с юга на север, а не с запада на восток,

так что добраться по ним до дома у меня никак не получится.

Отца похоронят через два дня, и на похороны я не успею, но единственное, о чем я жалею, — что нет такой реки, по которой можно было бы проделать весь этот путь.

ДИВНОГОРСК

Мне нужно добраться до Красноярска, но вообще — мне не туда. Мой путь дальше — вверх по течению Енисея, туда, где на горло реки опустилась ГЭС, в маленький город Дивногорск.

Дивногорск вообще не появился бы в этом месте, если бы не плотина. Чтобы ее построить, нужны были люди обязательно молодые и сильные — со сверкающими энтузиазмом глазами. Еще нужны были дух романтизма и авантюризма и песни под гитару — так, по крайней мере, рассказывали нам в школе. Ну или почти так.

Еще были палатки, танцы у костра и трудное укрощение взбеленившегося Енисея. После таких историй на классном часе я обычно проникалась тайной ненавистью к молодым, пышущим здоровьем комсомольцам и их придурочным танцам и жалела реку.

Енисей в моей жалости не нуждался. Пробравшись через плотину, он тек себе спокойно дальше, вот только больше не замерзал. Лет до двенадцати меня очень занимал этот факт — ведь все реки должны впадать в спячку зимой, а весной, отоспавшись, двигаться дальше. Енисей не спал никогда, зимой он исходил злобным паром, жители Дивногорска и Красноярска жаловались на чудовищную влажность, а мне казалось, что в это время к нему лучше не приближаться.

Зимой я старалась совсем не ходить на Набережную, чтобы не дышать Енисеевой злостью.

Мне всегда сложно было представить расстояние, поэтому, чтобы понять, на берегу какой огромной реки я живу, я вспоминала, что в верховьях Енисея обитают верблюды, а в низовьях — белые медведи. Я измеряю Енисей верблюдами и медведями, а они пьют воду из одной и той же реки, на берегу которой стоит Дивногорск.

Если ты не родился в Дивногорске, то, скорее всего, ты в нем никогда не окажешься. Аэропорта здесь нет, и даже на поезде между делом его не проедешь. Дивногорск — это железнодорожный тупик, дальше рельсы не ведут никуда. Просто маленький город с красивым названием, зажатый между холодной рекой и горами где-то в Сибири, и посторонним о нем знать совсем не обязательно. Город, про который я не могу сказать ничего, что обычно говорят про провинциальные города.

ГЭС, из-за которой Дивногорск появился, называется Красноярской, а Дивногорск как будто вообще ни при чем. Одиннадцать лет назад ГЭС, а значит, и хоть какой-то намек на существование города можно было увидеть на бумажной десятирублевой купюре. Потом их вдруг перестали печатать и вместо них появились монеты уже безо всяких намеков. Вместе с бумажными десятками Дивногорск исчез из карманов людей

и заодно с карты зауральской России, как будто сказал: посмотрели — ну и хватит, до встречи лет через пятьдесят. Город скрылся, как те города, которые раз в сто лет появляются со дна какого-нибудь озера на одну ночь, а потом снова исчезают.

Местным выбраться оттуда по своим делам ничего не стоит, но вот если ты не местный, то сиди и жди, когда город снова вынырнет, и на входе десятку не забудь показать.

Что-то мне подсказывало, что местной я уже давно не считаюсь, а значит, придется как-то выкручиваться.

Я не была в Дивногорске больше пяти лет, хотя мне хотелось ездить туда каждое лето. Но воспоминания о том, как плохо заканчивался каждый мой приезд, заставляли покупать билет в какое-нибудь другое место. Город будто выталкивал меня каждый раз, когда я пыталась в него влезть и снова сойти за местную. Он показывал свое отношение отвратительной погодой, странными тяжелыми простудами, ссорами с родственниками и возвращением депрессии, с которой я давно вроде бы справилась. Казалось, нужен какой-то особый повод, чтобы город снова появился из воды и впустил меня, и вот наконец я получила персональное приглашение. Я порылась в папке с документами и непонятного назначения бумажками и нашла там помятую, но сохраненную старую десятку с изображением ГЭС.

«Теперь у меня есть не только приглашение, но и пропуск», — подумала я.

Переезжая в Красноярск, Москву, Сочи, Петербург, я всегда с удовольствием говорила, что родилась в Дивногорске, это звучало явно лучше, чем если бы я родилась в Череповце или Кургане. Меня часто спрашивали, действительно ли там дивные горы, и я говорила «да». Мне кажется, это было мое самое уверенное «да» в жизни, ведь я смотрела на эти горы из окна почти каждый день восемнадцать лет, подмечая малейшие изменения в их облике и настроении. Я видела крутые склоны, поросшие деревьями, и острые выступы скал, похожие на застывшие лица великанов. Видела, как горы наряжаются к осени и как становятся хмурыми и серыми, а потом вдруг одним позднеосенним утром ослепляют тебя своей торжественной белизной и как будто становятся ближе, заглядывая в самое окно.

Но больше всего в этих горах я любила их независимость — они никогда не отражали моего настроения, даже и не пытались.

Осенью, когда я не знала, куда деться от надвигающейся депрессии, горы выглядели яркими, причесанными и абсолютно довольными жизнью. И сколько бы я ни смотрела на них своими мрачными глазами, они не становились мрачнее. Они жили своей, совершенно отдельной от меня жизнью, и то, что у гор своя жизнь, меня почему-то воодушевляло.

Но не все были готовы мириться с тем, что у всего вокруг есть личная жизнь. Одним из таких людей был мой отец. Он, как и я, часто смотрел на горы, но смотреть ему было мало, ему нужно было обязательно оставить на них свой след.

Каждый год он переплывал Енисей на надувной лодке, лез на самую заметную из окна скалу и устанавливал на ее вершине красный флаг с серпом и молотом. Когда дул ветер, флаг развевался и его было видно из нашей квартиры, но я не любила, когда он попадался мне на глаза.

Иногда флаг исчезал, а на его месте появлялся другой — бело-сине-красный, тогда отец матерился и собирался во внеочередное путешествие на другую сторону Енисея. Там он уничтожал полосатый флаг и снова устанавливал красный. Эта битва флагов длилась годами.

Все это время я ждала, что горы наконец разозлятся и скинут со своего тела и тех и других, но, как я уже говорила, горы живут сами по себе и не исполняют ничьих желаний.

ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ ТУПЫЕ

Перед отъездом из Петербурга у меня осталось всего одно важное дело — пристроить свою рыжую бородатую таксу Фарго; тащить его в поезде три дня казалось невыносимым и по человеческим, и по собачьим меркам.

Пришлось позвонить Леше, потому что он был единственным существом, кроме меня, к кому такса относилась с достаточной приятностью. Вообще-то Фарго его даже любил, потому что пару лет мы прожили все вместе и пес привык, что мы гуляем с ним по очереди, а по выходным по многу часов — всей стаей. Фарго любил нас обоих, а мы любили его. Но вместе с незамутненной радостью оттого, что у меня теперь есть собака, пришло какое-то сложное чувство, с которым я никак не ожидала встретиться. Я стала все чаще думать о том, а есть ли у собаки вообще выбор: кого ей любить, если у нее есть только мы? Даже если и я, и Леша окажемся полными мудаками, пес все равно будет смотреть на нас преданными глазами, ждать нашего прихода и скучать. Эта обреченность собачьей любви иногда заставляла меня чувствовать себя очень плохо. Что-то подобное, наверное, испытывают те, у кого появляются дети. Но дети все-таки имеют кое-какие шансы вырасти и съехать от неприятных родителей, а вот у собак такой возможности нет. Если бы я подумала об этом

раньше, до того, как у нас появился Фарго, то, может, не решилась бы завести собаку.

Когда Леша переехал, первое время я надеялась, что пес забудет о том, что нас когда-то было трое, и перестанет тосковать. Но Фарго проявил истинно таксичье упрямство и каждый вечер садился у входной двери в то время, когда Леша обычно возвращался с работы, и ждал своего второго хозяина.

Так и не дождавшись, Фарго подходил ко мне, возмущенно поднимал переднюю лапку и долго смотрел с выражением: «Ну куда, куда ты его дела?»

Я пыталась погладить пса, но он снова шел ко входной двери и сворачивался там круассаном, грустно поглядывая на меня из-под мохнатых бровей. Чтобы отвлечь его, я шуршала пакетом с собачьим кормом и доставала оттуда несколько пахнущих рыбой горстей. Пес вопросительно смотрел на меня, и я не знала, как ему объяснить, что не могу достать из этого пакета Лешу.

Леша моему звонку обрадовался и даже предложил поехать вместе со мной.

Пришлось напомнить, что полгода назад мы расстались и ездить со мной ему теперь необязательно.

— Но у тебя же отец умер! — попытался склонить меня к совместной поездке он.

— И что? Как будто ты не знаешь, какие у нас с ним были отношения, — ответила я.

— Никакие.

— Вот именно.

Вечером он забрал Фарго и пообещал каждый день присылать совместные фото.

— Можно обойтись только фотографиями собаки, — пошутила я.

— Плюс десять очков зловредности, — парировал Леша. Он присуждал мне очки зловредности за каждую саркастичную или издевательскую фразу в его адрес. Я эти очки никогда не считала, но что-то мне подсказывало, что их уже десятки тысяч.

На следующее утро я стояла на подмокнувшем перроне Ярославского вокзала, заглядывала в окна поездов и мысленно просила себе неразговорчивых пенсионеров в попутчики. Повезло мне только наполовину. Шестидесятилетние женщина и мужчина оказались разговорчивыми и злыми, но их злость была направлена не на меня, а друг на друга и на бегающих по коридору детей.

— Нарожали имбецилов! — то и дело возмущенно вскрикивал мужчина.

Жена советовала ему умолкнуть, но он продолжал беситься, ругая качество вагона, проводников, жену и вайфай. После двух неудачных попыток занять рот мужа чем-нибудь съестным женщине все-таки удалось утихомирить

его бутербродом с колбасой, а потом они долго пытались зарегистрироваться в «РЖД Бонусе».

Чувствуя повисшее в купе напряжение, я пылилась в окно, гадая, как скоро сцеплюсь с этой парочкой по какому-нибудь поводу. Я даже представила, как мы подеремся, потому что за «детьми-имбецилами» обязательно последуют «тупые бабы» с их вечным хождением по туалетам.

Спустя полчаса зловещего молчания и безуспешной борьбы с «РЖД Бонусом» мужчина с неожиданным для него смирением вдруг сказал: «Да что ж мы такие тупые!»

Напряжение разом исчезло, и я подумала: «Это лучшее, что он вообще сказал за все время пути».

Я мысленно поблагодарила мужика за вовремя прозвучавшие слова умиротворения и, глядя в окно, стала вспоминать все случаи из жизни, к которым лучше всего подошла бы именно эта фраза.

«Да что ж мы такие тупые», — должно было прийти нам с Лешей в голову, когда мы завели собаку, а потом нам пришлось ее делить. То же самое мне стоило сказать себе, когда согласилась писать сценарий к сериалу про врачей-вампиров, и когда решила выстричь челку и поступить на журфак, и когда наговорила гадостей сестре в свой последний приезд. В общем, тупой я бывала достаточно часто, но мне никогда не приходило в голову говорить себе об этом. Теперь же я вознамерилась использовать эту

простую и будто отпускающую все грехи фразу вместо ежедневной медитации.

Я еду на похороны, на которые мне все равно не успеть, — это ли не прекрасная освобождающая тупость.

Пока я упражнялась, пожилая пара вышла в Екатеринбург, и я больше не загадывала себе идеальных попутчиков.

Леша прислал фото бегущего по своим делам Фарго и сообщение, что пес выссал море, навалил кучу и вообще чувствует себя прекрасно. Я представила, как Фарго носился бы по перрону, а я носилась бы в поисках урны, и мне стало весело.

Вернувшись с двадцатиминутной прогулки вдоль поезда, я обнаружила в купе девушку, и дальше мы ехали вдвоем. Исподтишка я поглядывала на нее: у девушки были длинные русалочьи волосы, и она все время плакала, прикрываясь ими, как занавесками. Делала она это тихо, чтобы я не обращала внимания. Я старалась не обращать, ей все равно ничем не помогут невесомые слова незнакомой попутчицы. Мне почему-то казалось, что плачет она уже очень долго — может, пару дней, а может, неделю. Она вся как будто состояла из воды, которая стекала с ее ресниц, подбородка и волос.

Что она оплакивает? Вряд ли смерть моего отца.

Мне плакать не хотелось, если только из-за этой девушки.

Чтобы отвлечься и не смущать попутчицу своим бесцельным сидением, я достала книгу, но вместо букв перед глазами стояла вода, постепенно заполнявшая купе. Сначала она просто капала откуда-то с верхней полки, потом собралась в лужицы на полу. Лужи разрастались и сливались друг с другом, пока не покрыли пол ровным подрагивающим слоем. Я представила, как вода подхватывает с пола наши шлепанцы и они тоскливо бьются в закрытую дверь купе. А потом вода поднимется еще выше и, когда я буду спать, накроет меня вторым одеялом.

И мы поплывем, как я и хотела.

ПОДВОДНАЯ БОЛЕЗНЬ

За окном начинаются сумерки, бесконечно убегающие придорожные кусты постепенно бледнеют, зеленоватая тьма заполняет купе, и я слышу голос отца. Я так ясно слышу его требовательно-обиженную интонацию, что мне хочется заглянуть на верхнюю полку, чтобы проверить, что там действительно пусто. Но я продолжаю сидеть и смотреть на ее край, из-за которого вот-вот свесятся большие потрескавшиеся пальцы отца.

— Хочешь послушать про бабушку? — говорит он.

— Про бабу Зосю? — испуганно переспрашиваю десятилетняя я.

— Нет, про мою мать, твою бабу Тасю, — посмеиваясь, отвечает он.

Мы идем на родник к Слаломной горе за нашим домом, и сейчас у отца его хорошее лицо. Он только что вернулся из двухдневной командировки на водохранилище, и его обычно холодные серые глаза как будто потеплели. Я знала, что тепло это не задержится надолго, и старалась погреться в нем столько, сколько получится.

Дома никого не было, кроме меня (мать доделывала бухгалтерский отчет на работе в субботу, а сестра ушла к подруге), и отец взял меня с собой набрать родниковой воды в большую серую канистру.

— И про Езагаш расскажешь? — уточняю я.

— И про Езагаш, — обещает отец.

— Хочу.

Отец ерошит мне волосы, и я вздрагиваю. Он почти никогда не дотрагивается до меня.

— Твоя бабушка Тася очень любила свою родную землю, — поучительным тоном начинает он.

Я оглядываюсь по сторонам и думаю, что люблю то, что от дома до горы можно дойти за пятнадцать минут. А еще больше люблю высоковольтные вышки на ее склоне: они похожи на скелеты великанов, которые продолжают держать серебристые потрескивающие провода даже после своей смерти.

— Когда им сказали, что Езагаш затопят, твоя бабушка сильно заболела и, пока все готовились к переселению, она просто лежала, но не на кровати, а в огороде, среди грядок, носом в землю. Никто не мог понять, что с ней такое. Иногда дед так и находил ее на грядках и принимал за мертвую.

— А она была мертвая? — со страхом спрашиваю я.

— Нет, она была живая, — продолжает отец. — Она вставала, кормила деда, скотину и снова ложилась на землю. Когда начинал идти дождь или там холодно становилось, дед ее насильно в дом затаскивал. Она вырывалась, кричала, кусала его даже иногда.

Я представляю, как бабушка, которую я видела только на фотографиях, кусает деда за уши, и мне не хочется слушать дальше. Но я слушаю.

— Черт его знает, сколько бы это все длилось, но земляки придумали, что с Езагашем надо попрощаться как-то по-человечески, понимаешь?

Я не очень понимаю, но продолжаю слушать отца очень внимательно. Пока я успела попрощаться только с подругами на лето, найденным во дворе мертвым голубем и дочитанной книгой про Щелкунчика, но никого из них не топили в водохранилище, так что вряд ли я понимаю, как правильно попрощаться с селом по-человечески.

— Устроили они праздник — расставание со своей землей, Днем села это всё назвали. Мне тогда лет пятнадцать было, я тоже помогал. Собрались у нашей школы, на холме, там еще черемуха самая вкусная росла, накрыли столы, еду, самогонку принесли. Ну выпили, понятно, песни попели, а потом стали танцевать.

Больше я не видел никогда, чтобы люди так танцевали, как будто землю протоптать хотели до самого ядра или там до ада, не знаю. Пыльца такая стояла, ничего не видно. Как будто конец света какой-то наступил. А для села это он и был.

Бабку твою тоже привели, она сидела-сидела, а потом вдруг встала и тоже со всеми пошла танцевать. От плясок этих вся болезнь из нее будто

вышла. Она ее в землю втоптала и больше потом не лежала.

Мысленно люблюсь пляшущей в пыли бабушкой и не могу понять только одного: если она выздоровела, то почему я ее так и не увидела.

— А почему бабушка в Дивногорск вместе с тобой тогда не уехала? — спрашиваю я.

— Да потому, что она очень любила свою землю, — отец как-то недобро усмехается. — Село мы, как тогда говорили, отпели, но ни в этот год, ни на следующий никуда не уехали. И с Езагашем мы прощались еще несколько лет, каждый раз — как в последний.

Вот представь только, каково это — знать, что вот-вот конец, а он все никак не наступает. Как на кладбище живешь, а сам ни туда ни сюда...

Отец замолчал, высматривая тропинку: летом склон Слаломной зарастает высокой травой, скрывающей родник. Я шла по следам отца, смотрела в его спину и ждала, когда он снова заговорит, чувствовала, что он готовится сказать что-то такое, о чем детям обычно не рассказывают. От этого еще неизвестного и не высказанного в воздух секрета по шее у меня бежали мурашки.

— Дед за это время помереть успел, бабка его похоронила, а потом и правда пришло время уезжать. Село понемногу пустело, вот только мать как будто никуда не собиралась. На все вопросы отвечала, что у нее все давно готово, надо только попрощаться.

А что готово — не понятно: корова в стойке стоит, куры шастают по двору, Полкан в будке заливаётся, иконы со стены не сняты, даже накидушки на подушках лежат.

Я удивлялся, конечно, но в материны дела не лез, хоть и видел, что в селе уже никого почти не осталось. И вот пришел я как-то вечером от Стрижей, соседи наши были, захожу в дом, а там — тишина, никогда такую не слышал. Всегда ведь, как знаешь, есть какой-то звук: кто-то говорит, печь трещит, радио, даже если все спят, то храп стоит, а тут — вообще ничего. Как будто из дома душу вынули.

Ну я крикнул мать, она не ответила, подумал, что в стайку ушла, но тут меня как магнитом в комнату потянуло. Зашел я, а там — мать, бабка твоя Тася, в петле висит на балке потолочной.

— Как висит? — спрашиваю я, хотя затылком чувствую, что если кто-то висит в петле, то это слишком страшно, настолько, что будет караулить в темноте и сниться по ночам.

— А вот так висит, — все с той же кривой усмешкой отвечает отец. — Висит и покачивается, висит и покачивается, — добавляет он и сам начинает покачиваться из стороны в сторону. — Мертвая она, убила себя, чтобы из дома не уезжать. Говорил же, что бабка твоя любила свою землю, — отец сказал это почти с гордостью, как будто каждый человек на свете должен поступить так, как моя бабка, если ему вдруг

придется покинуть родной дом. — Я потом почти сразу в армию ушел, а скотина там так вся и сгнула под водой, — равнодушным тоном закончил отец.

Я долго жду, что отец скажет еще что-то, но он молчит, и все, что я могу, — это смотреть, как вода из маленькой железной трубы, подрагивая, заливается в канистру. Когда мне надоедает, я поднимаю глаза на Слаломную гору: она темнеет, лес по бокам склона щетинится, и на каждом дереве мне видятся чьи-то покачивающиеся тела. Становится тоскливо из-за незнакомого чувства, которое пришло к тебе прямо из этого леса и накрыло собой все.

Пытаясь уцепиться за что-то привычное, я смотрю на высоковольтные вышки-великаны, ищу у них защиты и впервые вижу, как сильно они устали, как тяжело им дается стоять вот так прямо и держать эти провода. Мне становится нестерпимо жалко вышки, бабушку Тасю, отца, корову и собаку Полкана.

Спустя пару месяцев после того, как отец познакомил меня с подводной бабушкой, я начала задыхаться. Я силилась сделать глубокий вдох, но ничего не получалось, приходилось дышать мелко-мелко под все нарастающий грохот сердца. После пятнадцати минут такого дыхания у меня начиналась истерика, я кидалась к маме и кричала, что сейчас задохнусь и умру. Я чувствовала себя рыбой, выброшенной на сушу,

сам воздух казался мне непригодным для того, чтобы им дышать.

Первый раз такой приступ случился, когда отец затеял с матерью очередную ссору. Я не слишком рассчитывала на их внимание, но страх смерти погнал меня прямо в центр их склоки, я плакала и задыхалась, умоляла вызвать мне скорую. Родители отвлеклись друг от друга и, кажется, правда испугались.

Мать допрашивала меня, не подавилась ли я чем-то, пока отец звонил врачам. Мне казалось, что я подавилась этим ядовитым воздухом, поэтому я неопределенно мотала головой, и мать никак не могла понять, «да» это или «нет».

Скорая приехала быстро. Как только я увидела двух женщин в белых халатах, моментально почувствовала себя лучше. Наверно, из-за этих халатов мне показалось, что они какие-то одинаковые и нездешние. Такие же рыбы, как я, только научившиеся ходить и дышать по-человечески.

Женщины ласково осмотрели меня и незаметно от родителей вдохнули немного нашего с ними правильного воздуха. Я успокоилась. Поставить мне диагноз врачи скорой не могли, поэтому посоветовали матери обратиться к педиатру и неврологу.

Воздуха хватило на пару месяцев, терпения родителей — еще на две скорых. Потом мать и отец поняли, что умирать от нехватки воздуха

я явно не собираюсь, и решили, что я притворяюсь с какими-то зловредными целями, известными только мне.

Отец предложил намазать меня настойкой мухомора, которая, по его мнению, помогала от всех болезней, а особенно от притворства. Мать была добрее и стала выводить меня во время приступов на улицу, где дышать было все-таки легче.

Однажды, во время ранних ноябрьских сумерек, приступ начался, когда дома никого не было, притворяться мне было не перед кем, поэтому стало понятно, что дела мои совсем плохи. Я позвонила маме на работу по номеру «Мама работа», приклеенному у телефона, и тяжело задышала в трубку.

Мама сказала, что у них годовой отчет и прийти сейчас домой она никак не может, еще сказала, чтобы я успокоилась. Как успокоиться — она не сказала.

Пока я говорила с мамой, ненадолго стало легче, но, как только голос ее утек из телефонной трубки и вместо него появились нечеловеческие гудки, мне снова стало страшно и воздуха в квартире заметно поубавилось. Я смотрела на темнеющие за окном горы и быстро летящие белые облака и старалась дышать аккуратно, но быстро сдавалась и делала один судорожный глубокий вдох, который заканчивался ничем. В груди как будто что-то слиплось и никак не могло расправиться. Чем больше я думала

о своем дыхании, тем страшнее мне становилось. Мне нужен тот, другой воздух, догадалась я, мне нужны женщины в белых халатах, терпеливые и ласковые. И если родители не хотят звонить в скорую, я позвоню туда сама, решила я и набрала «03».

— Я вас слушаю, — голос в телефоне оказался женским, но совсем не ласковым.

— Я задыхаюсь, — выпалила я. — Помогите!

— Сколько тебе лет, девочка?

— Десять.

— Значит, тебе десять и ты задыхаешься? — голос стал подозрительным, как будто в десять лет задыхаться было еще рановато.

— Да, — заплакала я. — Давайте я скажу вам адрес, и вы приедете.

Голос в телефоне замолчал, как будто что-то обдумывая.

— А у твоих родителей хватит денег, чтобы заплатить за такой выезд?

— Денег? — Это слово меня почему-то напугало: разговоры о деньгах в нашей семье обычно ничем хорошим не заканчивались.

— Денег-денег, — насмешливо повторил голос. — Выезд бригады скорой помощи стоит очень дорого, родители твои потом всю жизнь за него расплачиваться будут.

Услышав это, я бросила трубку: денег, чтобы расплачиваться всю жизнь, у моих родителей точно

не было. «А вдруг матери и отцу придется заплатить и за этот звонок тоже?» — еще больше испугалась я и решила, что больше никогда не буду звонить в скорую.

Лежа на полу кухни, под телефоном, я представляла, что лежу на гладкой и темной поверхности воды, она покачивается и баюкает. Руки в мокрых белых рукавах осторожно тянут меня вниз, под воду, и я им не сопротивляюсь. Когда вода смыкается над кончиком носа, дышать становится легче. Странно, но под водой — легче.

«Утопленники заразили меня своей подводной болезнью», — буду думать я еще пару лет; «придется, чтобы привлечь к себе внимание», — будет думать сестра еще лет десять; «какие-то неврологические проблемы из-за сложных родов, но ничего страшного», — будет думать мать всю оставшуюся жизнь.

Спустя пятнадцать лет я узнаю, что это были панические атаки.